

---

---

## Глава XIV

### ОДИН НА ВЕРШИНЕ: 1957—1960

4 октября 1957 года, садясь в Севастополе в самолет, который должен был доставить его в Югославию и Албанию с дипломатическими визитами, маршал Георгий Жуков не предполагал, что через какие-нибудь три недели будет уволен и попадет в опалу. Напротив: он был на вершине власти, и казалось, что его положению министра обороны и члена Президиума ничто не угрожает — по крайней мере пока страной правит Хрущев.

Хрущев и Жуков знали друг друга с конца тридцатых; особенно сблизила их война. Хрущев признавал, что Жуков отличался «умом, знанием военного дела и сильным характером», и сочувствовал ему, когда после войны Сталин (видимо, сознавая те же качества маршала и опасаясь их) отправил прославленного героя в ссылку в Одессу<sup>1</sup>. Именно Хрущев позаботился о том, чтобы после смерти Сталина вернуть Жукова в Москву, в 1955 году назначить министром обороны, а в 1956-м — кандидатом в члены Президиума. Так он вознаграждал Жукова за участие в аресте Берии. В июне 1957-го, после того как он помог Хрущеву разгромить «антипартийную» группу, Жуков стал членом Президиума. На свой шестидесятилетний юбилей в конце 1956 года он получил награды, обычно вручаемые руководителям партии<sup>2</sup>. В июле 1957-го весь Ленинград встречал его как героя: Жуков медленно ехал по Невскому проспекту в открытом ЗИСе под аплодисменты и восторженные крики десятков тысяч ленинградцев<sup>3</sup>. Тем же летом Жуков часто бывал у Хрущева на даче, где оба руководителя подолгу гуляли вместе по лесам и лугам, а в августе по приглашению Хрущева навестил его в Крыму<sup>4</sup>.

Нетрудно понять, почему Хрущев стремился удержать прославленного военачальника на своей стороне. «Вы лиша-

ете себя вашего лучшего друга», — предупредил Жуков Хрущева в телефонном разговоре в конце октября, когда решалась его политическая судьба<sup>5</sup>. Действительно, вместо того чтобы укреплять отношения с Жуковым, Хрущев тайно готовил его отставку. И в Крым он Жукова пригласил отчасти для того, чтобы тот был на виду<sup>6</sup>. Едва Жуков вылетел на Балканы, как Хрущев бросился в Киев на, как он сам позднее выразился, «политическую охоту» с другими ведущими генералами, желая убедиться, что они поддержат увольнение своего начальника<sup>7</sup>. 19 октября Президиум принял резолюцию, осуждающую Жукова. Пять дней спустя, узнав, что происходит в Москве, он созвонился со своим старым другом, главой КГБ Иваном Серовым, и бросился домой, чтобы спасти свою карьеру. Однако его (как и самого Хрущева семью годами позже) прямо из аэропорта отвезли на заседание Президиума, где объявили, что с ним покончено. Два дня спустя, на пленуме ЦК, в его защиту не было сказано ни единого слова. Решение сместить Жукова «для меня было очень болезненным», вспоминал Хрущев, но «мы вынуждены были с ним расстаться»<sup>8</sup>.

Наиболее серьезным обвинением было утверждение, будто Жуков готовится захватить власть с помощью отряда спецназа, тайно размещенного под Москвой; первый секретарь Московского горкома Фурцева назвала его «отрядом диверсантов». По утверждению Сергея Хрущева, его отец действовал столь быстро и решительно именно потому, что хотел предупредить действия спецназовцев Жукова<sup>9</sup>. Кроме того, Жукова обвинили в том, что он стремится сократить влияние партии на армию, запрещая политрукам критику боевых командиров и стараясь переместить под свое командование военные части МВД и пограничные войска КГБ. Третье обвинение (благодаря которому более правдоподобно выглядели два первых) состояло в том, что Жуков пестует культ собственной личности. Он якобы настаивал на пересъемке документального фильма о Параде Победы 24 июня 1945 года, поскольку при выезде из кремлевских ворот споткнулся его белый конь, верхом на котором он красовался в тот день на Красной площади<sup>10</sup>. На октябрьском пленуме Хрущев заявил, что Жуков ввел для военно-морских сил темно-синюю форму для того, чтобы самому на их фоне щеголять в белом кителе, «словно белая чайка». Маршал Рокоссовский там же рассказывал: «Во время войны он был не просто груб. Его стиль командования ни в какие рамки не укладывался; мы от него не слышали ничего, кроме брани, матерщины и угроз расстрела»<sup>11</sup>. Маршал Москаленко клей-

мил «тщеславие, эгоизм, беспредельное высокомерие и самовлюбленность» Жукова. Маршал Малиновский упрекал его за «упрямство, деспотизм, амбициозность и склонность к самовосхвалению». Маршал Баграмян заключил: «Да он просто больной. У него мания величия»<sup>12</sup>.

С такими друзьями и коллегами врагов Жукову не требовалось<sup>13</sup>. Многие из обвинений были сильно преувеличены, некоторые — очевидно лживы. Сейчас трудно установить, сколько в них было правды; однако Хрущев, похоже, поверил всему. В августе 1957 года, когда Хрущев посетил Восточную Германию, командующий расквартированными в ГДР советскими войсками Андрей Гречко начал готовиться к приему советской делегации. Однако Жуков приказал ему оставаться в поле, где проходили маневры, и Гречко пожаловался на это Хрущеву<sup>14</sup>. «Одно дело — уважение или неуважение ко мне лично, — говорил Хрущев на пленуме, — но, когда министр обороны заявляет, что первого секретаря встречать не нужно — это подрывает связь между армией и партией, и неважно как зовут секретаря: Хрущев, Иванов, Петров или как-нибудь еще. Это вредительство. Товарищи, я не себя защищаю — я защищаю партию»<sup>15</sup>.

Не только Шепилов утверждал, что Жуков с самого начала выступал за то, чтобы убрать Хрущева. То же обвинение выдвинули Булганин и Сабуров<sup>16</sup>. Во время кризиса июня 1957 года, когда соперники Хрущева восклицали, что он готов двинуть против них танки, Жуков, как рассказывают, пробормотал сквозь зубы, что танки двинутся или не двинутся «только по его приказу». На пленуме в июне 1957-го Хрущев процитировал эти слова с одобрением, заметив, что они выражают «строгую партийную линию». Однако из стенограммы пленума это одобрение исчезло; а в октябре Микоян обратил эти же слова против Жукова<sup>17</sup>. Сыграл против Жукова и его воинствующий антисталинизм на июньском пленуме. Одно дело — метать громы и молнии в адрес Молотова, Маленкова и им подобных, и совсем другое — намекнуть, что и сам Хрущев был сообщником Сталина, а затем, словно от имени самой партии, торжественно его «простить»<sup>18</sup>.

Тем же летом несколько высших должностных лиц праздновали день рождения секретаря ЦК Андрея Кириленко у него на черноморской даче. Июньский кризис разрешился благополучно, и партийным лидерам было что отпраздновать. Стол ломился от яств, вино лилось рекой. Аристов играл на гармонике, и члены ЦК нестройно подпевали. Конечно, произносились тосты: и разумеется, начинались они с восхвалений именинника, но заканчивались хвалами Хру-

шеву. Сам Хрущев ораторствовал без перерыва. Жуков вспоминает, как несколько раз просил его дать сказать и другим, и наконец Хрущев рявкнул: «Да что же, мне уже и говорить нельзя, если ты не хочешь слушать?!» Когда дали сказать несколько слов самому Жукову, он, отдав должное Кириленко, поднял тост за Ивана Серова, добавив: «Не забывай, Иван Александрович, что КГБ — это глаза и уши армии!» Хрущев вдруг вскочил и воскликнул: «Запомните, товарищ Серов, КГБ — это глаза и уши партии!»<sup>19</sup>

Все эти прегрешения, как реальные, так и воображаемые Хрущевым, предопределили падение Жукова. Дело осложнялось еще и тем, что после разгрома «антипартийной» группы Хрущев чувствовал себя особенно уязвимым. Основное его выступление на октябрьском пленуме состояло почти из одних оправданий — по поводу секретного доклада, обещания догнать и перегнать Америку, индустриальной реорганизации, отношений с интеллигенцией, ведения внешней политики. Не помогало делу и то, что победой над соперниками Хрущев был обязан Жукову. В своей речи он изобразил Жукова как самородка, возгордившегося своими успехами<sup>20</sup>. Когда они впервые встретились, общность происхождения и воспитания способствовала их взаимопониманию и дружбе. И, перестав доверять Жукову, Хрущев продолжал судить о нем (в частности, о его амбициозности) по себе.

Победа над Молотовым, Маленковым и Кагановичем в июне 1957 года, а несколькими месяцами спустя — отставка Жукова сделали власть Хрущева в стране единоличной и непререкаемой. На XXI съезде партии в начале 1959-го многие депутаты выходили на трибуну лишь для того, чтобы выразить свое восхищение и благодарность «лично дорогому Никите Сергеевичу». Теоретически Президиум представлял собой коллективный орган управления; однако по речам на съезде это было незаметно. «Все мы с глубочайшим восхищением заслушали замечательный доклад Никиты Сергеевича Хрущева» — так начала свою речь Екатерина Фурцева. Алексей Кириченко восхвалял «выдающуюся энергию, ленинскую твердость, приверженность принципам, инициативность... и огромный организаторский талант» Хрущева. Александр Шелепин назвал вдобавок к этим качествам «бодрость духа, личное мужество и твердую веру в силу партии». Эти трое составляли (по крайней мере, в то время) группу вернейших сторонников Хрущева; однако и старшие, более независимые руководители, такие, как Суслов и Ко-

сыгин, лишь немногим уступали им в подхалимстве<sup>21</sup>. Тридцать пять лет спустя Николай Егорычев, бывший в то время первым секретарем Московского горкома партии, объяснял: «Нужно понимать, что со времен Сталина Президиум не слишком изменился. Все прекрасно знали, что всякий, кто осмелится высказаться против Хрущева, немедленно покинет Президиум. Как можно было прямо сказать Хрущеву: “Вы неправы”? Никто бы на такое не решился»<sup>22</sup>.

Хрущев праздновал победу и в других областях. Урожай 1958 года был на 30 % больше, чем в 1957-м, и на 70 % больше, чем средний урожай за 1949—1953 годы, во многом благодаря хрущевской программе освоения целины<sup>23</sup>. Глядя на быстрый экономический рост, не только отечественные подпевалы Хрущева, но и многие зарубежные специалисты признавали, что такими темпами СССР скоро перегонит Соединенные Штаты<sup>24</sup>. В октябре 1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли, а в 1959-м — первая ракета на Луну. В том же году мирные инициативы Хрущева увенчались первым в истории продолжительным турне советского лидера по США, а на май 1960 года были назначены четырехсторонние переговоры.

И в этом, и во многих других отношениях 1957—1960 годы стали для Хрущева лучшими. Но в то же время намечались и грозные признаки грядущих неудач. Свидетели единогласны в том, что эти годы стали временем перелома к худшему, и расходятся лишь в том, когда именно начался этот перелом. Те, кто впоследствии повернулся против Хрущева, имели свои эгоистические причины описывать происшедшее как резкий поворот: это объясняло, почему они поддерживали «хорошего Хрущева» в первой половине 1950-х, но свергли «плохого Хрущева» в 1964-м. Однако их версию подтверждают и другие, в том числе и самые горячие защитники Хрущева — члены его семьи.

Согласно мнению члена Президиума Геннадия Воронова, человека столь близкого к Хрущеву, что в 1964-м заговорщики не сообщали ему о своих планах до последней минуты, «Хрущев в 1956-м и Хрущев в 1964-м — совершенно разные люди, во многом даже непохожие. Его изначальный демократический подход, обаянию которого невозможно было не подчиниться, постепенно уступил место отчуждению, стремлению закрыться в узком кругу людей, некоторые из которых потакали его худшим склонностям»<sup>25</sup>.

«После победы над “антипартийной” группой, — вспоминает бывший министр сельского хозяйства Бенедиктов, — Хрущев начал меняться буквально на глазах. Его демократи-

ческий подход начал уступать место авторитарным манерам...» Победа над соперниками «дала ему свободу действий», замечает Александр Шелепин. Он «начал проявлять высокомерие, настаивать на непогрешимости своих решений и преувеличивать достигнутые успехи». По словам Микояна, после 1957 года Хрущев «просто зазнался», «почувствовал вкус власти, поскольку ввел своих людей в Президиум и решил, что может ни с кем не считаться, что все будут только поддакивать»<sup>26</sup>.

Георгий Корниенко в 1959 году работал в советском посольстве в Вашингтоне. И из собственных наблюдений, и из разговоров с московскими друзьями (в том числе с Громыко, заместителем которого он вскоре стал) он вынес впечатление, что эра Хрущева «делится почти пополам на два периода, до и после 1958 года». После 1958 года Хрущев перестал слушать чужие советы и окружил себя «подпевалами»<sup>27</sup>. Олег Трояновский, с 1954-го личный переводчик Хрущева, а с 1958-го его помощник по внешней политике, датирует «начало перемен» 1957 годом, когда рассеялась последняя явная оппозиция Хрущеву<sup>28</sup>. Рада Аджубей вспоминает, как суждения ее отца о литературе и искусстве становились все более «безапелляционными. Он не сомневался, что вещает истину, даже когда попросту не понимал, о чем идет речь». К тому же Хрущев «сделался жестче в отношениях с людьми» — и не только в семье, хотя это проявлялось и там. «Раньше он выслушивал других всегда, даже если те не соглашались с ним или его критиковали. А теперь начал говорить: “Хватит! Чтобы я этого больше не слышал. Надоели эти разговоры. Слушать их больше не хочу”. Не желал слышать ничего неприятного. Когда это началось? Думаю, в конце 1950-х»<sup>29</sup>.

Одиночество на вершине не пошло Хрущеву на пользу. Лишив себя критиков, он парадоксальным образом оказался беззащитен не только против собственных слабостей, но и против глухого, упрямого сопротивления бюрократии. Более не сдерживаемый и не направляемый серьезными критиками вроде Молотова, теперь он был свободен судить о вещах, в которых ничего не смыслил, прислушиваться или не прислушиваться к чужим советам, вести импульсивную внешнюю политику, поддаваться на провокации — и, в конечном счете, готовить свою отставку. Ему противостояла вездесущая бюрократия, опутавшая своими сетями всю страну. У бюрократов были свои интересы, которыми они не собирались поступаться, — а личный штат самого Хрущева был крайне мал. В отличие от персонального секретариата Сталина, с помощью которого тот манипулировал и тай-

ной полицией, и партией, и государственными органами, штат Хрущева состоял всего из четырех помощников (Трояновский — по внешней политике, Шевченко — по сельскому хозяйству, Владимир Лебедев — по культуре и идеологии и Григорий Шуйский — по общим вопросам) да нескольких клерков и стенографисток. К этому можно добавить пресс-группу, состоявшую из Аджубея, редактора «Правды» Павла Сатюкова, генерального директора ТАСС Дмитрия Горюнова, чиновника ЦК Леонида Ильичева и пресс-секретаря Министерства иностранных дел Михаила Харламова: эти люди готовили речи Хрущева — не сочиняли за него, а записывали под его диктовку и редактировали (впрочем, толку от этого было мало, поскольку во время выступлений Хрущев редко придерживался заранее подготовленного текста). Разумеется, эти несколько человек не могли эффективно контролировать огромную и разветвленную партийную систему<sup>30</sup>. Партийные и правительственные функционеры не осмеливались открыто критиковать Хрущева — однако можно сказать, что это и не требовалось. Не опасаясь больше чисток и расстрелов, они искажали информацию, от которой он зависел, откладывали (а то и вовсе отменяли) проведение в жизнь его решений или, напротив, проводили их с таким рвением, что эти решения превращались в пародию на самих себя. В особенности отличались этим партаппаратчики: поддержав Хрущева в 1957-м, они полагали, что отныне Хрущев обязан поддерживать их благосостояние.

Осенью 1958 года, когда группа чиновников была в гостях у Хрущева на даче, член Президиума Николай Игнатов, помогавший Хрущеву в борьбе с «антипартийной» группой, завел разговор с Сергеем Хрущевым. Игнатов говорил, что «нельзя позволять обижать» Хрущева. Сергей был «поражен тем, каким покровительственным тоном он говорит об отце»<sup>31</sup>.

Летом того же года югославский посол Мичунович обратил внимание на «проявления недовольства и враждебности» по отношению к Хрущеву. Источники Мичуновича сообщали, что «организованной оппозиции нет, но имеются спонтанные вспышки недовольства» в связи с «постоянными сюрпризами» и «скачками генеральной линии». За десятилетия сталинского правления люди привыкли к тому, что власть говорит мало, веско и по делу; Хрущев же говорил столько, что «уследить за его мыслью было невозможно при всем желании»<sup>32</sup>.

В начале 1958 года, когда Николай Булганин (последний из «антипартийной» группы, не считая дряхлого Ворошилова) подал в отставку с поста председателя Совета министров,

его место занял сам Хрущев. В 1964 году, когда противники упрекали его в присвоении двух высших должностей сразу, Хрущев отвечал, что они сами его к этому подтолкнули. Однако в мемуарах он признает, что «критиковал Сталина за совмещение в одном лице двух таких ответственных постов», но, когда та же возможность представилась ему самому — «сказалась моя слабость, а может быть, подтачивал меня внутренний червячок, ослабляя мое сопротивление»<sup>33</sup>.

Жаль, что он понял это слишком поздно.

Подавив оппозицию, Хрущев решил свести счеты с поверженными противниками. Их сместили с высших партийных и государственных постов — это было вполне понятно. Они получили незначительные посты в провинции — что ж, по сравнению с жертвами Сталина, можно сказать, дешево отделались. Однако личная обида, которую они нанесли Хрущеву, требовала отмщения. Маленков не сомневался, что Хрущев его ненавидит<sup>34</sup>. Согласно Шепилову, Хрущев проявил себя «человеком мстительным и ничего не прощающим»<sup>35</sup>. Но, даже если бы сам Хрущев и не желал зла своим бывшим соперникам, его подчиненные не сомневались, что, преследуя их, угодят боссу. Резонно предположить, что Хрущев организовывал травлю своих врагов — поскольку он имел обыкновение сам принимать решения по куда более мелким вопросам.

Молотов отделался легче прочих — возможно, потому, что, несмотря ни на что, Хрущев продолжал относиться к нему с уважением. Как и другие проигравшие, Молотов опасался ареста. Вместо этого его поспешно лишили резиденции и подмосковной дачи и отправили послом в Монголию — в результате, как жаловался потом Молотов, он лишился ценной библиотеки, погибшей, когда прорвало трубы в подвале здания Министерства иностранных дел<sup>36</sup>. В Монголии дел у нового посла было немного, и в свободное время он забрасывал ЦК критическими замечаниями в адрес Хрущева. Дважды он звонил Сулову и предупреждал, что Хрущев портит отношения с Китаем, а в мае 1959-го предложил, чтобы спасти положение, организовать новое «Содружество социалистических государств»<sup>37</sup>. В письме, адресованном в Комитет партийного контроля, он опровергал утверждение Хрущева, сделанное в беседе с президентом Никсоном, что Молотов противился подписанию советско-австрийского договора 1955 года: «Решительно возражаю против попытки Н. С. Хрущева изобразить меня, коммуниста, в виде адвоката войны с “Западом” и заявляю, что это

утверждение содержит клевету, аналогичную той грязи, которую лили меньшевики на большевиков»<sup>38</sup>. В начале 1960 года Молотов отправил в редакции нескольких советских газет статью, посвященную 90-летию со дня рождения Ленина. Значительное место в статье занимали упоминания автора о личных беседах с Лениным (чем Хрущев похвастать не мог). Статью, разумеется, не опубликовали, и только один редактор потрудился ответить<sup>39</sup>.

В политическом отношении действия Молотова были «булавочными уколами» — однако Хрущев воспринимал их всерьез. Комитет партийного контроля подготовил пространный доклад, опровергающий письмо Молотова о советско-австрийском договоре<sup>40</sup>. Советская делегация, приехавшая в Монголию на партийный съезд, третировала Молотова с нескрываемым презрением: его не приглашали ни приветствовать делегацию по прибытии, ни присутствовать на ее встречах с монгольским правительством, запретили даже появляться на съезде (где глава делегации Николай Игнатов в своих выступлениях крыл его на чем свет стоит); а на гала-приемах, куда не пригласить Молотова было невозможно, ему не доставалось кресла и он вынужден был стоять. «Эта сцена повторялась изо дня в день», — записывал у себя в дневнике присутствовавший на съезде Мичунович. Отнюдь не являясь поклонником Молотова, он все же замечал, что «Советский Союз и Хрущев выбрали самый неудачный способ продемонстрировать свое отношение к нему»<sup>41</sup>.

Мичунович позвонил Молотову; тот был угнетен и подавлен дикостью страны, в которую забросила его судьба. Сплошные кочевники и скот. «Даже министр иностранных дел у них — ветеринар», — ворчал Молотов. Он был почти изолирован от мира; однако Игнатов счел нужным подслушать его разговор с Мичуновичем из соседней комнаты, а при следующей встрече с югославом не постеснялся заметить, что с Молотовым тот разговаривал «натянuto», совсем не так открыто и непринужденно, как с Хрущевым<sup>42</sup>.

В 1960 году Молотова в качестве советского представителя Международного агентства по атомной энергетике перевели в Австрию — подальше от Китая, где усиливались антихрущевские настроения. Накануне XXII съезда партии Молотов выступил с детальной критикой новой партийной программы, которой очень гордился Хрущев. После этого на него и на других ветеранов «антипартийной» группы с новой силой обрушилась пресса; все они были исключены из партии<sup>43</sup>.

Маленкова в 1957 году отправили в Казахстан руководить гидроэлектростанцией неподалеку от Усть-Каменогорска.

Ему с семьей дали десять дней, чтобы освободить резиденцию на Ленинских горах и подмосковную дачу; прежние слуги и охранники, превратившиеся в надсмотрщиков, отказались помогать в сборах. Как и Молотов, Маленков потерял большую библиотеку. В сорока километрах от Усть-Каменогорска Маленкова с женой сняли с поезда и отвезли напрямик в деревушку Албакетка, где в темном бревенчатом домишке они прожили до лета 1958 года. Маленкова избрали делегатом областной партконференции, и, узнав об этом, Хрущев отправил его еще дальше — в Экибастуз, где служаки из КГБ следили за каждым его движением, по пятам ходили за его детьми, когда те приезжали навестить родителей, и даже украли его партийный билет, а потом обвинили в его потере, чтобы ускорить исключение Маленкова из партии. Однажды Маленкова вызвали в Москву: в Комитете партийного контроля шло разбирательство, касающееся его участия в сталинских репрессиях. Несколько раз во время разбирательства до Маленкова доносился голос Хрущева: тот слушал его из соседней комнаты и высказывал свое мнение об услышанном громко и не стесняясь в выражениях<sup>44</sup>.

Через два дня после июньского пленума 1957 года Каганович позвонил Хрущеву. Он умолял оставить его в живых: «Мы с тобой много лет знаем друг друга. Не позволяй поступить со мной так, как поступали с людьми при Сталине». Хрущев, как рассказывают, позволил себе зло подшутить над бывшим наставником. «Посмотрим», — ответил он<sup>45</sup>. Каганович был отправлен в Соликамск (~~Пермская~~ область), где возглавил производство поташа. В 1962 году его исключили из партии, перед этим вернув в Москву и назначив ему обычную пенсию.

Шепилова сослали в Киргизию, где он возглавил Институт экономики. В 1959-м его выбрали делегатом киргизской республиканской партконференции, и помощник Хрущева Леонид Ильичев срочно вылетел во Фрунзе, чтобы уговорить местные власти «не связываться с Шепиловым» и вычеркнуть его из списков. Жена Шепилова осталась в Москве, в квартире, где они жили с тридцатых годов. В 1959-м, узнав, что жену выселяют, Шепилов покинул больницу, где ожидал операции, и бросился в Москву. Там он обнаружил, что в квартире все перевернуто вверх дном, а его библиотека из нескольких тысяч книг (Сталин требовал, чтобы членам Политбюро доставлялись буквально все книги, издающиеся в Советском Союзе — видимо, в надежде, что это поможет осуществлять идеологический контроль) разбросана по подъезду. «Ничего не знаю», — отвечал Микоян, к ко-

торому Шепилов обратился за помощью. Шепилов уже готов был повеситься на веревке, которой перевязывал стопки книг. Тогда его жена обратилась к Нине Петровне Хрущевой. Неизвестно, благодаря этому или нет, но Шепиловым разрешили остаться в Москве, переселив их в двухкомнатную квартиру с окном на темный двор, над которым днем и ночью дымила труба какого-то завода. В том же 1959-м Шепилов был исключен из Академии наук СССР (потеряв при этом немало привилегий), а в 1962-м — из партии<sup>46</sup>.

Ворошилов оставался формальным главой государства до 1960 года, а членом Президиума Верховного Совета — и после этого. Михаил Первухин до 1958-го возглавлял Государственный комитет по внешнеэкономическим связям, а затем был отправлен послом в ФРГ; Максим Сабуров, до 1958-го его заместитель, получил должность директора машиностроительного завода в Куйбышеве. Булганин возглавил Ставропольский совнархоз. «Дурак, — говорил о нем Хрущев, — дураком и останется». А «пост председателя Совета министров СССР не предназначен для дурака»<sup>47</sup>.

В конце 1958 года ушел со своей должности и еще один ключевой участник июньской схватки. Прошлого Ивана Серова, который запомнился Серго Микояну как «невысокий, лысеющий, вечно с шутками и прибаутками на устах», в общем, «приятный человек», было мрачным: он участвовал в организации катынского расстрела польских офицеров, в сталинизации Западной Украины и Прибалтики, помогал выселять крымских татар и другие «малые» народы, усмирять оккупированную советскими войсками Восточную Германию, а в последние годы жизни Сталина был первым заместителем министра внутренних дел. На руках у него было немало крови — возможно, именно поэтому он верно служил Хрущеву. Когда Микоян предложил уволить Серова, Хрущев поначалу его защищал («Он не фанатик, он действует умеренно»), но затем согласился заменить его Александром Шелепиным. «Хрущев, — замечает Аджубей, — как бы сжигал за собой мосты, связывающие с теми, кто постоянно напоминал о его зависимости от их поддержки. Он уже хотел быть сам по себе, отстранить всех, кто помогал ему расчищать дорогу к власти»<sup>48</sup>.

Добившись полной самостоятельности, Хрущев прежде всего обратил свое внимание на сельское хозяйство. Временами его высказывания звучали как тезисы в защиту свободного рынка. «Вы извините меня за резкость, — говорил он

перед собранием колхозников, — но если бы это было коммерческое предприятие, которое находилось бы в условиях капиталистической конкуренции, то хозяин, который расходовал бы на килограмм привеса восемь килограммов зерна, без штанов бы остался. А у нас директор такого совхоза, думаю, имеет “добри штаны”, как говорят украинцы. Почему? Потому что он не отвечает за такое безобразие, ему и упрека никто не сделает»<sup>49</sup>. И тот же Хрущев метал громы и молнии в адрес капитализма: «Там ведь один человек наживает за счет разорения другого». При капитализме «крупный фермер — владелец капиталистического предприятия, он смотрит на рабочую силу как на источник прибыли. Если рабочий теряет здоровье, если он не способен дать максимум прибыли, капиталист его выбрасывает»<sup>50</sup>.

Еще в сентябре 1953 года Хрущев защищал подсобные хозяйства колхозников и их право иметь собственный скот: «Только те, кто не понимает политики партии, видят в существовании личного скота какую-то опасность для социализма... » Однако буквально в следующей же фразе он противоречил сам себе, заявляя, что «основной наш путь — совместное владение скотом» и что сельскохозяйственное производство скоро достигнет таких высот, что собственный скот крестьянам уже не потребуются<sup>51</sup>.

Альтернативой материальным вливаниям стали мобилизация и укрупнение хозяйств. Хрущев торжествовал, когда примером успешности нового курса стало его родное село. В Калиновке было решено построить общий коровник и перевести более половины коров в коллективную собственность. Разумеется, прибавлял Хрущев, «дело это сугубо добровольное: кто не захочет продавать, не надо, пусть держит корову у себя». Однако — что совсем неудивительно — вскоре после того, как он выехал из Калиновки, «колхозники решили продать всех коров колхозу, и они это сделали, но прежде очень хорошо подготовились»<sup>52</sup>. На случай, если кто-то из колхозников не поймет, что от него требуется, была издана серия законов и указов, сильно ограничивающих размеры тех самых приусадебных участков, которые Хрущев вроде бы стремился защитить<sup>53</sup>.

Хрущева привлекали как запретный плод рыночной мотивации, так и чудеса организации и технологии; неудивительно, что он был буквально очарован страной, лидировавшей и в том и в другом. Еще в сороковые годы он предлагал перенять американский метод посадки кукурузы и картофеля — вдоль веревок, на которых через равномерные промежутки завязаны узлы. Дойдя до узла, комбайн сбрасывает в

борозду картофелину и початок. Достоинство этого метода в том, что он позволял полностью механизировать посевные работы. Выполнение его на практике оказалось чересчур сложным<sup>54</sup>, однако это не отвратило Хрущева от американских изобретений. В разгар холодной войны, когда немногие американцы осмелились бы торговать с Россией, главным американским поставщиком Хрущева стал простой фермер из Айовы Росуэлл Гарст, которого интересовали в жизни две вещи: снижение международной напряженности и продажа семян гибридной кукурузы.

После речи в феврале 1955-го, в которой Хрущев призвал к массовому выращиванию кукурузы по айовским образцам, «Де-Мойн-реджистер» пригласил его «обменяться опытом в области производства высококачественного крупного рогатого скота, овец и птицы». Тем же летом Айову посетила русская делегация, возглавляемая заместителем министра сельского хозяйства Владимиром Мацкевичем. Гарст встретил группу в Джефферсоне и увлек Мацкевича на свою ферму в Кун-Рэпидс площадью 2600 акров. Заместитель министра целый день любовался гибридной кукурузой, которой не страшна засуха, и слушал, как Гарст нахваливает свой товар<sup>55</sup>. Успехи американцев Мацкевич отчасти отнес на счет природной изобретательности, благоприятного климата, а также того, что на территории Айовы не было ни войн, ни рабства. Но в то же время он обратил внимание на организацию и проведение работ, которые полезно было бы заимствовать в России, — например, специализированные фермы и широкое развитие сети сельскохозяйственных услуг по всей стране. Вернувшись, Мацкевич доложил Хрущеву: «То, на что американцам требовались десятилетия, мы можем пройти и пройдем за немногие годы»<sup>56</sup>.

Гарст идеально подходил на роль наставника Хрущева. Оба любили поболтать, пересыпая свою речь шутками и прибаутками. Резкость Гарста (например, когда он распекал советских колхозников за то, что те сажают кукурузу, предварительно не удобрив почву) тоже импонировала Хрущеву, поскольку вполне отвечала его представлениям о том, как нужно разговаривать с подчиненными. Когда осенью 1955 года Гарст приехал в Россию, Хрущев пригласил его погостить на своей ялтинской даче. Гарст провел там почти целый день, во время которого Хрущев показал себя с лучшей стороны — радушный и гостеприимный хозяин, живой и остроумный собеседник. Гарст поинтересовался, почему русские так мало знают об американском сельском хозяйстве, если секрет атомной бомбы они сумели украсть у США все-

го за три недели. «За две, — поправил Хрушев. — Атомную бомбу вы прятали, так что нам пришлось ее красть. А информацию о сельском хозяйстве предлагали задаром — вот мы и думали, что она ничего не стоит». Великолепный трехчасовой ужин с отличным грузинским вином мог бы затянуться еще дольше, если бы Нина Петровна своей властью не запретила мужу много пить. За столом, где, кроме Хрущева, сидели Микоян, Мацкевич и другие, речь шла в основном о кукурузе. В конце концов СССР заказал пять тысяч тонн семян американского гибрида<sup>57</sup>.

Понимая, что растить кукурузу в СССР нелегко из-за сурового климата, Гарст развернул карту и показал на ней самые многообещающие области в южной части страны. В брошюре, переведенной и широко распространенной русскими, он перечислил и другие необходимые условия: посадку гибридных семян, удобрения, ирригацию, механизацию, а кроме того, использование инсектицидов и гербицидов. Многих из тех средств, которые рекомендовал Гарст, в СССР не было — но, раз Хрушев решил сеять кукурузу, ничто не могло его остановить.

«На огородах в Курской губернии кукуруза росла с давних времен, — пишет Хрушев в своих мемуарах. — Бабушка кормила меня пареной кукурузой, которая считалась лакомством». Росла кукуруза и на Украине, но полностью Хрушев понял ее потенциал («я за силосную кукурузу, потому что не видел более экономичной кормовой культуры для скота») лишь в 1949-м, когда вернулся в Москву<sup>58</sup>. Американскую кукурузу он сперва испытал на собственном дачном участке, а затем распорядился засеять ею участок поля в соседнем колхозе. Председатель колхоза «въехал в кукурузное поле верхом на коне, и мы его вновь увидели, только когда он выехал на дорогу. Вот такая была кукуруза!». Так что Хрушев сделался «кукурузофилом» еще до знакомства с Гарстом. А вскоре его увлечение превратилось в навязчивую идею.

Сам Хрушев и его защитники утверждают, что за широчайшее распространение кукурузы в ущерб другим культурам он не в ответе. «К сожалению, — пишет он в своих мемуарах, — в советских условиях рекомендации человека, занимающего высокий пост, порой приводят к обратным результатам. Часто кукурузу сеяли бездумно. В угоду начальству. В печати и по радио призывали больше сеять эту культуру на силос, и тот, кто не умел ее выращивать, тоже сеял, чем и отчитывался. Этим они дискредитировали кукурузу и прежде всего меня, как человека, который искренне ее рекомендовал и верил в нее»<sup>59</sup>.

Хрущев в самом деле предостерегал против кукурузной мании. Высмеивал энтузиастов, которые, дай им волю, «всю планету засеют кукурузой». Настаивал, чтобы партийные власти «не прыгали в воду, не узнав броду»<sup>60</sup>. В другой своей речи он предупреждал: «Насильно ничего не выйдет! (...) Нужно организовать людей, подобрать хорошую землю, подготовить семена, вовремя посеять, тщательно обработать плантации и вырастить 500—700 центнеров зеленой массы на гектаре»<sup>61</sup>. Он даже посмеивался над собственной слабостью к кукурузе. Выступая в Смоленской области, для иллюстрации своей речи он прихватил с собой из Москвы трехметровый кукурузный стебель<sup>62</sup>. В одном латвийском колхозе предположил: «Некоторые из вас сидят вот здесь и наверняка думают: скажет Хрущев что-нибудь о кукурузе или не скажет? Признаться, я и сам так думал: сказать о кукурузе или не надо?» После чего, разумеется, заговорил о кукурузе да еще и упрекнул слушателей за то, что сажают ее слишком мало<sup>63</sup>.

Но не энтузиасты на местах, а сам Хрущев настаивал: «Мы обязательно вырастим кукурузу в Якутии, а может быть, и на Чукотке. Картофель там растет? Растет. Думается, что и кукуруза будет расти»<sup>64</sup>. Если кукуруза не давала ожидаемых урожаев, «этому есть только одна причина — недостаток внимания и заботы при культивации». Не сделал ли ЦК ошибку, порекомендовав сеять кукурузу на всей территории СССР? «Нет, товарищи, это не ошибка». Факты доказывают, добавил Хрущев, «что кукуруза дает высочайший урожай во всех областях нашей страны, что этой культуре нет равных»<sup>65</sup>.

Он восхвалял кукурузу как «царицу полей»<sup>66</sup>. Заявлял, что «кукуруза и только кукуруза» поможет ему сдержать свои обещания<sup>67</sup>. «Что значит обогнать Соединенные Штаты Америки по производству продуктов животноводства? Это значит научиться повсеместно выращивать кукурузу на силос — такую задачу мы ставим для Советского Союза»<sup>68</sup>. Сами многократные повторения этих тезисов показывают, что идеи Хрущева встречали сопротивление. «Хочу вам высказать и еще некоторые неприятные вещи, — объявил он в январе 1958 года на собрании председателей колхозов Московской области. — Правда, я говорю вам все о том же вот уже в течение восьми лет, но пока толку мало. Я имею в виду, товарищи, кукурузу»<sup>69</sup>.

Однажды Хрущев привез в Варшаву пять мешков кукурузных семян. «Ради мира и спокойствия», как вспоминает Сташевский, поляки засеяли кукурузой, по документам, миллион акров, а реально — только сто пятьдесят тысяч. Хрущев рассказывал Сташевскому, что главный агроном Москвы осмелился сказать, будто Хрущев ничего не понимает в сельском хозяйстве. «Можете вы в это поверить? —

спрашивал Хрущев Сташевского. — Я ничего не понимаю в сельском хозяйстве! Он заявил, что я ничего в этом не понимаю! Да, прямо так и сказал. Разумеется, я с ним мог сделать все, что пожелаю, мог его уничтожить — ну, знаете, организовать так, чтобы он исчез с лица земли. Но я этого не сделал. Вместо этого сказал: убирайтесь из Москвы, куда угодно, но чтобы я вас больше не видел. Он уехал в Сибирь, на том все и кончилось»<sup>70</sup>.

Благодаря прежде всего самому Хрущеву, в конце пятидесятых «организовать» чье-либо исчезновение с лица земли было уже немыслимо. Вместо этого Хрущев распекал тех, кто не хотел или не мог выполнять его требования. Все дело в кадрах, утверждал он, «в людях, дело в том, кто председатель колхоза, кто бригадиры, звеньевые»<sup>71</sup>. «Когда у людей появляется уверенность в своих силах, они творят чудеса»<sup>72</sup>. Они непохожи на тех, что «сидят в конторе и упражняются с цифрами» вместо того, чтобы «организовывать людей на конкретное дело»<sup>73</sup>. Впрочем, еще хуже их — не признающие научных достижений люди. «Тот, кто хочет вести дело без науки, без знания, только опираясь на опыт своего дедушки, — тот плохой хозяин», — отмечал Хрущев<sup>74</sup>. Но горе тем районным руководителям, которые не знают, «сколько дней курица на яйцах сидит, чтобы вывести цыплят». Они напоминали Хрущеву «интеллигентика, который говорит: “Фу, коровой пахнет” — и нос воротит, но сам телятину кушает, хотя не знает, откуда телята берутся. (*Смех в зале.*) Мы — рабочие люди, вышедшие из среды рабочих, колхозников, из среды трудовой интеллигенции, не можем быть белоручками и смотреть так, что, мол, деревенская работа — грязная работа»<sup>75</sup>.

Идеал районного руководителя весьма напоминал сильно приукрашенный портрет самого Хрущева. «Как я изучал сельское хозяйство? — говорил он на встрече с секретарями райкомов в апреле 1957 года. — Ездил в колхозы, совхозы, слушал людей, знакомился с передовым опытом и распространял его, читал специальную литературу. Вот как накапливались и приумножались знания»<sup>76</sup>. Когда сельские руководители признавались, что не могут решить какие-то проблемы, Хрущев кричал на них: «Дайте мне самый трудный район, в котором вы поработали и не нашли возможности решить задачу, поставленную январским пленумом ЦК. Дайте мне этот район. Перед всем честным народом заявляю, что мы пошлем людей, сам выеду, если пошлет ЦК, и даю подписку на этом заседании, что мы задание... не только выполним, но и перевыполним»<sup>77</sup>.

Хрущев не сомневался, что «правильно настроенные» люди способны творить чудеса, — и эта уверенность стала его проклятием. Пока дела шли хорошо, людям верили и поощряли их. Но стоило случиться неудаче (а при существовавшей системе неудачи были неизбежны) — вину возлагали на тех же самых людей и на их кремлевского покровителя. Как пример можно привести отказ в 1958 году от системы МТС (машинно-тракторных станций) и распродажу их оборудования колхозам. МТС были организованы в конце двадцатых — начале тридцатых, когда только что образованные колхозы еще нетвердо стояли на ногах и не имели средств для содержания собственной техники. Кроме того, поскольку колхозы считались «менее развитой» формой собственности (теоретически они принадлежали не государству, а сообществу колхозников), считалось идеологически неверным выделять им собственные «средства производства». Да и в политическом смысле новые колхозы, куда многих крестьян приходилось затаскивать силком, были ненадежны. Поэтому МТС служили своеобразными цитаделями партии и НКВД в сельской местности. С течением времени многие колхозы развились, укрепились и получили возможность содержать собственную технику. Однако многие другие были еще не готовы к реформе, которую навязал им Хрущев.

Свои действия он обосновывал пословицей: «У семи нянек дитя без глазу». Но при нем одним результатом оказался такой же. Он дал колхозам большую ответственность, но не дал средств, с помощью которых они могли бы эту ответственность реализовать. Когда, вспоминал Хрущев, он впервые предложил расформировать МТС, Молотов, в то время еще входивший в состав правительства, «с ума сходил, утверждая, что мы совершаем антимакистский шаг, ликвидируем социалистические завоевания. Глупо, конечно... Я думаю, сейчас не найдется ни одного здравомыслящего человека, разбирающегося в экономике сельского хозяйства, который считает, что это было сделано неправильно»<sup>78</sup>.

Однако в то время Хрущев послушался Молотова. И даже в конце 1957 года, когда Молотов давно был в Монголии, Хрущев лишь осторожно спрашивал, «не пора ли пойти на то, чтобы *некоторым* колхозам (выделено мной. — У. Т.) передать технику МТС». Подняв этот вопрос для формального обсуждения, он говорил о выполнении своего проекта в течение двух-трех лет, добавляя: «С этим не следует торопиться»<sup>79</sup>. Однако к концу 1958 года более 80 % колхозов приобрели бывшие МТС в собственность<sup>80</sup>.

Последствия оказались ужасающими. Выплатив стои-

мость тракторов и комбайнов, даже самые крепкие колхозы потеряли возможность инвестировать средства в другие необходимые предприятия. Кроме того, выяснилось, что использование техники самими колхозниками менее эффективно. Рабочие МТС были чем-то вроде сельской элиты. Присоединение к колхозам означало для них понижение в статусе и в зарплате, и многие из них, бросив работу, разъехались по городам. В результате, как пишет Рой Медведев, «сельское хозяйство понесло невосполнимый урон»<sup>81</sup>.

Местные руководители, стремившиеся угодить своему властелину, разумеется, поставляли лишь ту информацию, которую он хотел услышать. Помощники Хрущева также не докладывали ничего такого, что могло его огорчить и рассердить. В этом смысле бюрократия знала его лучше, чем он себя. Судьба одного из таких исполнителей на местах, рязанского партийного руководителя Алексея Ларионова, обернулась трагедией для него самого и легла несмываемым пятном на биографию Хрущева.

История Ларионова (по аналогии с гоголевскими «Мертвыми душами» назовем ее «Мертвые коровы») начинается в конце 1958 года, когда производство зерна в СССР заметноросло, а вот производство мяса выросло только на 5 %<sup>82</sup>. Ларионов, поддавшись искушению, пообещал в 1959 году поднять производство мяса в Рязанской области втрое. Помощник Хрущева Андрей Шевченко, по его собственным воспоминаниям, предупреждал Хрущева, что это «невозможно», — в ответ Хрущев бросил телефонную трубку и при личной встрече на следующий день выглядел мрачным и недовольным<sup>83</sup>. Редакторы газет также отказывались сообщать об обещаниях Ларионова — однако Хрущев настаивал. Как он сам вспоминал год спустя: «Рязанцы взяли, рязанцы и будут свои обязательства выполнять. Знаю товарища Ларионова как серьезного, вдумчивого человека. Он никогда не пойдет на такой шаг, чтобы взять какое-то нереальное обязательство... Он на это не пойдет»<sup>84</sup>. Однако время показало, что Хрущев ошибся.

7 января 1959 года обещание Ларионова было торжественно опубликовано в «Правде». В том же месяце Хрущев объявил об этом на XXI съезде партии, а затем отправился в Рязань, чтобы лично наградить Рязанскую область орденом Ленина. «Мне нравятся люди высокого порыва, умеющие проявить себя в любом деле», — сообщил он слушателям<sup>85</sup>. В октябре того же года Хрущев поздравил рязанцев и призвал их не останавливаться на достигнутом (четыре года спустя эта речь не вошла в собрание выступлений Хрущева). Если так и дальше пойдет, говорил лидер государства, «вам

потребуется немного времени для того, чтобы догнать Америку по производству мяса и, как образно говорится, ухватить бога за бороду. (*Оживление в зале, аплодисменты.*)»<sup>86</sup> Месяц спустя: «Можно, конечно, назвать цифры и, как поступали в прошлом цыгане, убежать от своих обещаний. (*Смех в зале.*) Но ведь рязанцы не собираются никуда убежать. Они дали обещание и успешно его выполняют. Это замечательно, товарищи! (*Бурные аплодисменты.*)»<sup>87</sup>

В декабре 1959 года Хрушев присвоил Ларионову звание Героя Социалистического Труда. На том же пленуме Ларионов произнес пламенную речь о кукурузе, заявив, что она приносит стране «неисчислимы выгоды». Хрушев поддразнивал первого секретаря компартии Украины Подгорного и белорусского лидера Мазурова: «Ну что, обскакал вас Ларионов? Показал вам кузькину мать?»<sup>88</sup> Тем временем в Рязанской области под нож пошел буквально весь скот, включая молочных коров и племенных быков, а в общественные стойла были командированы коровы и свиньи из индивидуальных хозяйств. Этого оказалось недостаточно, и рязанские «агенты» отправились на закупку скота в другие области, вплоть до Урала. Но у других регионов были свои планы по мясозаготовкам; дошло до того, что на дорогах соседних с Рязанью областей выставлялись милицейские кордоны, но рязанцы уводили скот под покровом ночи по нехоженным проселкам. В отчаянии Ларионов наложил на область мясной налог: сдавать мясо обязаны были не только колхозы и отдельные колхозники, но даже школы и другие учреждения. Люди закупали мясо в магазинах и приносили его в колхозы, которые продавали это мясо обратно государству.

В конце концов Рязанская область сдала государству 30 тысяч тонн мяса — одну шестую от обещанных 180 тысяч. Для расследования деятельности Ларионова ЦК отправил в Рязань специальную комиссию. Когда правда раскрылась, Ларионов застрелился у себя в кабинете<sup>89</sup>.

«Как же можно не радоваться, товарищи, — вопрошал Хрушев в 1958 году, — гигантским достижениям нашей промышленности?.. Какое еще государство может похвастать таким ростом? Нет и не было такого государства. Только в нашей стране, с ее замечательным народом — народом борцов, народом первопроходцев — такое возможно. [*Бурные аплодисменты.*]»<sup>90</sup> Точные цифры роста советской экономики за этот период неизвестны; но, очевидно, их было достаточно, чтобы привести в восторг Хрущева. Еще более радовал его гранди-

озный прорыв в науке и технике, ознаменованный запуском первого искусственного спутника Земли. Хрущев в это время был в Киеве, встречался в Мариинском дворце с гражданскими и военными чиновниками. Услышав новость, он, по рассказу сына, «просиял» и тут же сообщил об этом слушателям: «Американцы кричали на весь мир, что готовятся запустить спутник Земли. Спутник у них с апельсин размером. А мы помалкивали — зато теперь вокруг планеты крутится наш спутник. И немаленький — целых восемьдесят килограммов»<sup>91</sup>. В январе 1958 года он объявил, что СССР «обогнал ведущую капиталистическую страну — США — в области научно-технического прогресса». А в апреле добавил: «Теперь уже США думают, как бы им догнать Советский Союз...»<sup>92</sup>

Советский спутник поразил весь мир, и в особенности американцев. Однако эйфория Хрущева зиждилась на хрупком основании. Когда США запустили свой спутник, в тридцать раз легче советского, югославский посол Мичунович заметил, что Хрущев «мрачен и подавлен»; зато последующие запуски советских спутников, по словам сына, были ему «как бальзам на душу»<sup>93</sup>. В августе 1957 года Хрущев объявил, что в России разработаны межконтинентальные ракеты, способные достигнуть «любой точки на глобусе». Некоторые американцы, заявил он в октябре корреспонденту «Нью-Йорк таймс» Джеймсу Рестону, ему не поверили, но «теперь сомневаться в этом могут только совершенно невежественные в технике люди»<sup>94</sup>.

Разумеется, Хрущев блефовал. Ракета Р-7, выведшая спутник на орбиту, для военных целей не годилась. Чтобы обеспечить ее горючим, следовало бы построить по заводу на месте каждого запуска. А чтобы довести Р-7 до цели, необходимо было разместить два радиомаяка «на расстоянии в 500 километров от стартовой позиции». Более того, запуск такой ракеты стоил около полумиллиарда рублей — намного больше, чем мог себе позволить Хрущев. Позже он сам признал, что новое оружие «представляло собой только символический ответ на угрозы США». Реально межконтинентальные баллистические ракеты появились в СССР только в шестидесятых<sup>95</sup>.

Впрочем, Хрущев полагал, что даже пустые ядерные угрозы приносят ему большие дивиденды. Но военные не разделяли его самоуверенности — не только потому, что знали реальное положение дел, но и потому, что под громкие разговоры о межконтинентальных ракетах урезалось финансирование всех видов обычного вооружения<sup>96</sup>.

Первыми пострадали бомбардировщики — заводы по их

выпуску переквалифицировались в ракетные или стали производить пассажирские самолеты. Военно-воздушные базы (как Шереметьево под Москвой или Бровары под Киевом) сделались гражданскими аэродромами. Следующий удар пришелся по артиллерии и флоту, который Хрущев в беседе с Никсоном назвал «кормом для акул»<sup>97</sup>. Подводные лодки, особенно те, что можно было оснастить ракетами, разумеется, не пострадали — сокращение коснулось надводных кораблей, уязвимых для атак возможного противника. «На море противник имел огромный флот, — вспоминал Хрущев в мемуарах, — отказ от соревнования на море мог привести нас к подчиненному положению». Однако он пришел к выводу, что это соревнование может завести в тупик: «Хорошо бы иметь такие корабли, но это оказалось нам не по средствам. Лучше не распыляться».

У СССР имелось несколько почти новых крейсеров, на строительство которых были затрачены большие деньги. Сперва Хрущев хотел поставить их на прикол, но решил, что это обойдется слишком дорого. После «долгого обсуждения», на котором рассматривалась возможность их переделки в рыбацкие траулеры, пассажирские суда или плавучие гостиницы, «пришлось пойти на болезненное решение: уничтожить ценности, созданные своими руками». Позднее Хрущев начал продавать эсминцы и суда береговой охраны. В качестве уступки флоту построил четыре новых крейсера, хотя и считал, что они построены «на случай, если потребуются представителям СССР прибыть на военно-морском судне за границу». «Лишь для того, чтобы встречать и провожать гостей и самим ходить по морю в гости. Красиво на крейсере выйти в море, прихвастнуть перед иностранцами»<sup>98</sup>.

За 1955—1957 годы СССР сократил численность Вооруженных сил на два миллиона человек. В январе 1958-го «ушли на гражданку» еще 300 тысяч, а в январе 1960-го было сокращено еще 1,2 миллиона человек, из них 250 тысяч офицеров<sup>99</sup>. Увольнения производились в спешном порядке, без необходимой подготовки: в результате многие бывшие офицеры оказались буквально на улице, без жилья и без работы. Скоро в армии началось брожение. Весной 1960 года капитан ВМФ, который был в гостях у своего друга, молодого дипломата Аркадия Шевченко, рассказывал, что его товарищи-офицеры «буквально слезы льют, глядя, как почти достроенные крейсера и эсминцы по приказу Хрущева отправляются в металлолом»<sup>100</sup>. По словам Сергея Хрущева, его отца обвиняли в «невежестве, ограниченности, превращении армии в хаос и разоружении перед лицом врага».

Сергей характеризует оппозицию как «скрытую», однако замечает, что его отец «знал об этих настроениях, но твердо держался своего курса. Он считал, что, если дать волю военным, они погубят страну, а потом скажут: “Вы дали нам слишком мало ресурсов”»<sup>101</sup>.

Со всех сторон Хрущева бомбардировали вопросами, требующими решения; неудивительно, что у него голова опухла. Ракетные конструкторы, которым Хрущев давал работу и которых окружил почетом, засыпали его комплиментами. Впрочем, в некоторых случаях Хрущев действительно заслуживал похвалы. Первые советские ракеты, как и в США, предполагалось запускать с наземных станций, что делало их уязвимыми для превентивных вражеских ударов. Именно Хрущев додумался размещать ракеты в подземных шахтах. Летом 1958 года он отдыхал в Крыму, неподалеку от санатория «Нижняя Ореанда», где жили высшие лица государства — министры, партийные боссы, а также ученые, и в их числе создатель Р-7 Сергей Королев. Хрущев часто заходил в санаторий пообщаться. Едва он появлялся, его окружала толпа. Здесь-то он и поведал Сергею Королеву об осенившей его идее. Конструктор возразил, что ракета, помещенная в тесном замкнутом пространстве, сгорит от выпускаемых собственным двигателем раскаленных газов; на это Хрущев ответил, что ракету нужно поместить в стальной цилиндр — тогда газы будут рассеиваться между цилиндром и стенками шахты.

Рассказывая об этом эпизоде в своих воспоминаниях, Хрущев скромничает: «Я понимал, что не имею права проталкивать эту идею. Я ведь не специалист — так что просто сказал об этом и забыл»<sup>102</sup>. На самом деле, когда Королев отверг его предложение, Хрущев стал искать себе других союзников. Он пригласил в свою роскошную резиденцию Владимира Бармина, строителя пусковых механизмов для королевских ракет, и Михаила Янгеля, главного соперника Королева, — но их эта идея тоже не впечатлила. Сергею Хрущеву, который при этом присутствовал, стало даже жаль отца. Однако позже он наткнулся на упоминание в американском техническом журнале нового метода защиты ракет — размещение в стальных цилиндрах в подземной шахте. Увидев чертеж, иллюстрировавший статью, Хрущев-старший «обрадовался, как ребенок», а ученым вскоре пришлось выслушать лекцию о том, как полезно читать технические журналы. В сентябре 1959 года в СССР был произведен первый запуск ракеты из шахты — и Хрущев воспринял его как «личную победу»<sup>103</sup>.

В сентябре 1958 года Хрущев решил познакомить генералитет и высшее партийное руководство с достижениями современной военной техники. Знакомство состоялось в Капустинском Яре, на главном ракетном испытательном полигоне СССР, в ста километрах к юго-востоку от Сталинграда. Была запущена серия ракет, запуск комментировался по громкоговорителю. Хрущев «широко улыбался. Он явно был в восторге от того, что видел»<sup>104</sup>.

После представления самые важные гости (в том числе члены Президиума Кириченко и Брежнев, министр обороны Малиновский и маршал Соколовский) собрались в специально оборудованном железнодорожном вагоне неподалеку от полигона, где Хрущев произнес импровизированную речь. «Отец уже все для себя решил, — рассказывал присутствовавший на встрече Сергей Хрущев. — Он не сомневался, что следующая война, если она будет, будет ракетной войной». Долго и воодушевленно, едва делая паузы, чтобы вздохнуть или глотнуть чаю, Хрущев объяснял, что устаревшее вооружение надо отправить в утиль, а все внимание обратить на развитие ракетной техники. Пока он говорил, слушатели «хранили осторожное и упрямое молчание. Слышался только звон ложечек, которыми они помешивали чай... Чем больше говорил отец, тем упорнее Малиновский, шумно дыша, смотрел в стол. Когда монолог отца наконец подошел к концу, никто не возразил ему — но никто и не поддержал. Почувствовав, что над столом повисло неловкое молчание, отец добавил: “Конечно, все это надо обдумать и подсчитать, а потом уже действовать”»<sup>105</sup>. Однако формальное подтверждение высказанных им идей не заставило себя ждать.

На всем протяжении своей карьеры Хрущев стремился продемонстрировать одновременно уважение к интеллигенции и близость к народу. То же самое он делал и после 1957 года — но, пожалуй, второе удавалось ему лучше, чем первое.

В числе прочего Сталин оставил своим наследникам жилищную проблему. В городах люди жили очень тесно: армии молодых рабочих ютились в общежитиях, множество семей — в коммуналках. Жилищный вопрос возник еще до революции; его усугубили быстрая индустриализация и урбанизация тридцатых годов и разрушения войны. При Хрущеве цифры ежегодной сдачи жилья были почти удвоенны. С 1956 по 1965 год в новые квартиры вселилось около 108 миллионов человек. Стремясь поскорее обеспечить советских граждан тем, чего они были так долго лишены, Хру-

щев возводил непритязательные блочные пятиэтажки без лифтов и мусоропровода. Многие новые дома заселялись до окончательной отделки, местами — без соблюдения правил безопасности. Миллионы людей благодарили Хрущева за новое жилье, однако сами новые дома скоро заслужили нелестное прозвище «хрущобы». Сам Хрущев считал «хрущобы» временной мерой, полагая, что через десять — двадцать лет сможет переселить их обитателей в новые дома более высокого качества. Действительно, в шестидесятых начали строиться панельные девятиэтажки, более удобные и современные; однако «хрущобы» пережили падение СССР, а многие из них стоят и по сей день<sup>106</sup>.

По мнению Хрущева, нуждалось в реформе и советское образование. В первые годы советской власти педагоги пытались совместить академическое образование с профессиональным; при Сталине школьное образование стало необходимой основой для карьерного роста. Хрущев предложил заменить десятилетнюю школу одиннадцатилеткой, посвятив последний год ручному труду на близлежащих заводах и фабриках, а также облегчить доступ в университеты для детей из рабочих семей. «С таким порочным положением, когда в нашем обществе воспитываются люди, не уважающие физический труд, оторванные от жизни, мириться дальше нельзя», — говорил Хрущев на заседании Президиума. Неудивительно, что эта идея встретила сопротивление со всех сторон: для директоров заводов нашествие буйных старшеклассников грозило обернуться дополнительной головной болью; интеллигентные семьи боялись, что реформа сузит перспективы их детей; а педагоги высших учебных заведений протестовали против размывания академических стандартов. В результате предложения Хрущева так и не были осуществлены до конца, а после его отставки были поспешно свернуты<sup>107</sup>.

Культура постсталинского СССР представляла собой яркое и своеобразное явление. В 1957 году, во время Международного фестиваля молодежи и студентов, Москву наводнили тысячи молодых людей со всего мира — и тысячи молодых москвичей, вышедших на улицы встречать иностранных гостей. До поздней ночи на московских улицах читали стихи, звучала экзотическая музыка, шли танцы под звуки африканских барабанов, шотландских волынок и джаз-оркестров. Предыдущие фестивали (в Бухаресте в 1953-м и Варшаве в 1955-м) проходили под неусыпным надзором пропагандистов. Теперь Хрущев стремился поразить мир широтой московского гостеприимства. Так и случилось;

однако был и обратный результат: молодые москвичи ощутили вкус к западной популярной культуре<sup>108</sup>.

Джаз и рок-н-ролл, прежде подозрительные или даже запретные, зазвучали в Москве — сперва по «Голосу Америки», затем на пластинках, привозимых из-за рубежа, и наконец на «квартирниках» в исполнении русских музыкантов. На улицах появились «стиляги» в широчайших пиджаках и узких брючках, «штатники», одетые на американский манер, и «битники» — любители рока в свитерах и джинсах. Возник и новый жанр «авторской» или «бардовской песни» — демонстративно аполитичные лирические баллады о любви, дружбе, далеких краях и жажде странствий; они исполнялись под гитару и широко распространялись на магнитофонных пленках<sup>109</sup>.

Возникли новые журналы: «Юность», «Молодая гвардия», «Наш современник». Расцвели популярные жанры — детективы, приключения, научная фантастика. В фильмах молодых режиссеров по-новому раскрывались старые темы (Гражданская война в фильме Григория Чухрая «Сорок первый», Великая Отечественная — в фильмах «Летят журавли» Михаила Калатозова и «Баллада о солдате» Чухрая) или описывалась частная, домашняя жизнь простых людей («Дом, в котором я живу» Льва Кулиджанова). Консервативные идеологи, разумеется, оказывали сопротивление новым веяниям на всех фронтах; но полем битвы, в которой Хрущеву довелось участвовать лично, стала литература.

Писатели в России традиционно считались совестью нации, «вторым правительством» (по выражению Солженицына). Казалось бы, лидеру, стремящемуся обновить советскую систему; нечего делить со свободомыслящими писателями и художниками; беда в том, что либеральная интеллигенция стремилась двигаться вперед быстрее и дальше, чем хотел Хрущев, а консерваторы от искусства, используя его старомодные вкусы, натравливали его на либералов. Сохранить баланс между либералами и консерваторами было бы нелегко даже для более образованного и культурного лидера — для Хрущева это оказалось попросту невозможно. У него не было времени пополнять свое образование чтением книг или посещением театров. Самое большее, что он себе позволял, — по воскресеньям просил кого-нибудь из домашних почитать ему вслух. «Пусть мои глаза отдохнут, а ваши поработают», — говорил он. О спорных литературных произведениях он знал только то, что считали нужным ему сообщать «советники по культуре», — да если бы и читал их, скорее всего, мало что бы в них понял<sup>110</sup>.

После выволочки, которую устроил Хрущев писателям на печально известном пикнике в Семеновском весной 1957-го, опубликованные выдержки из его выступления подтолкнули его к консервативному лагерю<sup>111</sup>. Однако в июле того же года Хрущев дважды встретился с Александром Твардовским, либеральным поэтом и издателем, к которому тепло относился из-за его крестьянского происхождения. В 1954-м Хрущев согласился на изгнание Твардовского с поста редактора «Нового мира»; теперь он поразил поэта рассудительностью, терпимостью и взвешенностью суждений. Хрущев вежливо выслушал речь писателя о нуждах и проблемах литературы и сам посетовал на «бюрократию». 31 июля состоялась вторая беседа, продолжавшаяся два с половиной часа. Твардовский защищал Маргариту Алигер и Владимира Дудинцева, которых Хрущев поносил в мае, и просил проявлять в литературных делах терпение. «Н. С. все время говорил: “Это интересно”, “все, что вы говорите, интересно”, “да, это нужно изучить” и т. д.»<sup>112</sup>. Он даже согласился принять Алигер и Дудинцева, но консерваторы из Союза писателей сумели помешать этой встрече. В разговоре Твардовский упомянул «Войну и мир» и «Поднятую целину» — и Хрущев поспешил заверить его, что читал и то и другое. Вот Маленкова, добавил он, считают культурным человеком — а ведь на самом деле он просто «червяк». Потом Хрущев начал вспоминать, как Сталин ликвидировал собственную родню, но быстро оборвал себя: такие истории — «не для ушей поэта».

Когда Твардовский уходил, у дверей его перехватил заведующий отделом культуры ЦК Поликарпов: «Неужели ты не понимаешь, что в тебе здесь заинтересованы больше, чем в ком бы то ни было из писателей страны, что ты — первый поэт...» Твардовскому показалось, что лицо у Хрущева «не такое толстое и глупое, как на фотографиях, а более стариковское, пожухлое, но оживленное внутренним соображением, мыслью, хитростью. При этом впервые мне мелькнуло, что он стар и наивен кое в чем, как дитя. Например, в вопросах собственно литературных. “Лучше нам плохое, лакировочное, но наше... чем талантливое, но не наше”», — сказал ему во время разговора сам Хрущев<sup>113</sup>.

Той же весной, несмотря на сопротивление консерваторов, имевших большинство в СП и возглавлявших большую часть журналов, Твардовский был вновь назначен редактором «Нового мира». Новая политика Хрущева была отмечена умеренностью и сдержанностью; однако осенью 1958-го он дал вовлечь себя в травлю Пастернака. Замечательный поэт Борис Пастернак бросал вызов партийному официозу

не столько своими политическими взглядами, сколько демонстративной аполитичностью своих стихов и прозы<sup>14</sup>. Его роман «Доктор Живаго» не ставил под сомнение завоевания революции; однако его заглавный персонаж, «негероический герой» Юрий Живаго, самим своим существованием бросал вызов общепризнанным ценностям. Полагая, что роман будет опубликован в СССР, Пастернак передал его в рукописи итальянскому коммунисту Джанджакомо Фельтринелли. Когда «Новый мир», еще под руководством Константина Симонова, отказался его опубликовать, Фельтринелли сделал перевод и, несмотря на протесты (впрочем, явно формальные) Пастернака, добился его публикации в Европе. 23 октября 1958 года Пастернак получил Нобелевскую премию.

Вскоре развернулась яростная кампания против Пастернака. Редакционная статья в «Литературной газете» заклеимила его «Иудой». Его исключили из творческого союза, а московские писатели приняли резолюцию, в которой призывали лишить «предателя Бориса Пастернака» советского гражданства. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Владимир Семичастный произнес перед 14 тысячами слушателей (включая и самого Хрущева) речь, в которой сравнил Пастернака со свиньей — в пользу последней, ибо она «никогда не гадит там, где ест и спит», и добавил, что этот «внутренний эмигрант» должен «стать эмигрантом на деле и отправляться в свой капиталистический рай»<sup>15</sup>.

Сперва Пастернак, впав в отчаяние, предложил своей давней возлюбленной Ольге Ивинской совершить двойное самоубийство, затем написал слезное письмо Хрущеву. От Нобелевской премии он уже отказался и теперь умолял, чтобы ему разрешили остаться на родине. Скоро кампания затихла. Хрущев позже признавался, что так и не прочел скандальный роман; по воспоминаниям сына, он получил «несколько машинописных листков с цитатами из “Доктора Живаго”, подобранными так, чтобы обличить его антисоветский характер». На этой-то основе, пишет Сергей Хрущев, отец и начал антипастернаковскую кампанию; однако он же ее и остановил, сказав: «Довольно. Он признал свои ошибки. Прекратите»<sup>16</sup>. В мемуарах Хрущев уверяет, что долго мучился из-за «Доктора Живаго», почти решился его напечатать и потом сожалел, что все-таки этого не сделал<sup>17</sup>. Однако, если верить Семичастному, именно Хрущев приказал ему «проработать» Пастернака, продиктовал фразу о гадящей свинье и сказал, что советское правительство не будет стоять у Пастернака на дороге, если он «так жаждет

подышать воздухом свободы, что ради этого готов покинуть родину». Когда Хрущев продиктовал последнюю фразу, Семичастный будто бы воскликнул: «Никита Сергеевич, я от имени правительства такое говорить не могу!» — «Ничего-ничего, — ответил Хрущев. — Ты скажешь, мы все похлопаем. И все всё поймут. Так оно и вышло»<sup>118</sup>.

Покончив с делом Пастернака, Хрущев попытался восстановить либерально-консервативное равновесие. Он уволил Всеволода Кочетова, ультраортодоксального редактора «Литературной газеты», первым опубликовавшего ругательную статью о Пастернаке, и в мае 1959-го обратился с речью к Третьему съезду писателей. Но и здесь его благим намерениям помешали собственные невежество и неосторожность. Чиновник ЦК Игорь Черноуцан и писатель Борис Полевой подготовили для него черновик речи, просмотренный и завизированный либеральным советником по культуре Владимиром Лебедевым. Однако, поднявшись на сцену, Хрущев объявил, что, хотя «ребята» подготовили для него очень хорошую речь, он всю ночь думал и понял, что лучше говорить без бумажки, «от себя». И дальше, вспоминая Черноуцана, началось «что-то невообразимое» — безумный словесный поток, скачки от темы к теме, в которых ничего невозможно было понять.

Начал Хрущев с Пантелея Махини, своего юзовского друга, шахтера и поэта, причем продекламировал те самые стихи (о необходимости «бороться с миром мрака до могилы»), которые критиковал почти пятьдесят лет назад. Затем поведал, что недавно распорядился освободить уголовника, написавшего ему трогательное письмо. (Через несколько дней после освобождения, добавляет Черноуцан, этот человек совершил убийство.) Дальше Хрущев сказал, что писатели — это солдаты и их задача — стоять на передовой против «автоматчиков», покушающихся на позиции партии. Свободомыслящих и заблуждающихся интеллигентов он сравнил с «бандитами», которых «перевоспитывал» знаменитый чекист Дзержинский. Не успели писатели переварить это не слишком ободряющее сравнение, как Хрущев разразился следующим пассажем: «Хочу привести пример выращивания кукурузы в нормальных и тепличных условиях и провести некоторую аналогию с воспитанием молодых литераторов. (*Оживление в зале. Аплодисменты.*)»<sup>119</sup>

Критику Саре Бабеншевой, присутствовавшей в зале, Хрущев напомнил «деревенского дурачка» или «чудика» из шукшинских рассказов — «феномена-самоучку, который знает понемногу обо всем и жаждет поразить мир своими познаниями»<sup>120</sup>. Во время перерыва писатель Владимир Тендряков

подошел к своему другу Черноуцану и прошептал: «Слушай, что же это такое? Он же просто идиот!» — «Ты неправ, Володя, — ответил Черноуцан. — Он умный и талантливый человек, просто импровизация — не самая сильная его сторона»<sup>121</sup>.

Хрущев заметил, что произвел на слушателей не самое приятное впечатление, и после перерыва попытался извиниться. «К сожалению, я мало читал книг... и не потому, что не хочу читать. Читал-то я не меньше вашего, только не книги, а донесения послов и записки министров». К несчастью, некоторые книги «нагоняют сон. Хочешь дочитать до конца, потому что другие товарищи уже прочли, делятся впечатлениями, хотят услышать твое мнение. Но читать трудно, глаза сами закрываются». Затем он попросил у слушателей прощения за «упрощения» и «грубые сравнения» в своем выступлении. «Если я что-либо сказал не так, думаю, что вы мне простите это. Признаюсь, я очень волновался и беспокоился. Сперва думал выступить по заранее подготовленному тексту. Но вы знаете мой характер — не люблю читать, люблю беседовать». «Когда речь написана и приготовлена — можно спокойно спать. А когда предстоит выступать без текста — так и спится плохо. Проснешься и начинаешь думать, как лучше сформулировать тот или иной вопрос, начинаешь сам с собой спорить. Выступление без текста — это очень тяжелый хлеб для оратора». Так что «если какие оговорки вы и заметили, то не судите слишком строго»<sup>122</sup>.

Зрелище руководителя страны, просящего прощения у тех самых писателей, которых он только что распекал, было почти трогательное. (Разумеется, не успел Хрущев сойти со сцены, как его приятель и наушник Корнейчук вскочил и воскликнул, что оратор «осветил путь» и «открыл новые горизонты» перед советской литературой.) Однако спрашивается: если импровизировать так трудно, почему Хрущев не воспользовался письменным текстом — тем более перед высококультурной и, следовательно, особенно критичной аудиторией? Возможно, хотел поразить и привлечь слушателей своей простотой и открытостью. А может быть, эта задача привлекала его именно своей трудностью — и следовательно, тем, что произведенное на слушателей дурное впечатление можно было свалить на неумение импровизировать.

Каковы бы ни были мотивы Хрущева, его неосторожность использовали в своих интересах оба враждующих лагеря. Консерваторы играли на его враждебности к модернистским произведениям, которых он не понимал; либералы использовали его антисталинизм. В начале шестидесятых Твардовский шутливо объяснял своим коллегам,

что «с культом приходится бороться посредством культа»<sup>123</sup>. Именно так и появилась в поэме Твардовского «За далью — даль» антисталинская глава «Как это было». Цензор наложил на главу вето, и Твардовский отправился к Хрущеву. Лебедев посоветовал ему преподнести главу Хрущеву на день рождения, 17 апреля 1960 года. «Знаете, я вам скажу: он — человек, — сказал Лебедев Твардовскому. — И ему будет просто приятно (мне незачем вам делать комплименты и т. п.), что великий поэт нашего времени... и т. д.»

Так оно и вышло, особенно после того, как Твардовский написал поздравление, в котором выразил Хрущеву «уважение и признательность» и пожелал «дорогому Никите Сергеевичу доброго здоровья, долгих лет деятельной жизни на благо и счастье родного народа и всех трудовых людей мира»<sup>124</sup>. Лебедев одобрил текст поздравления, организовал передачу главы Хрущеву, который отдыхал на юге после утомительной поездки во Францию, и в тот же вечер позвонил Твардовскому с хорошими новостями: «Прочел с удовольствием. Ему понравилось, очень понравилось, благодарит за внимание, желает... Я, конечно, не сомневался, но вместе с вами еще раз переживаю радость»<sup>125</sup>.

29 апреля и 1 мая глава, преподнесенная в дар Хрущеву, была напечатана не где-нибудь, а в газете «Правда». А три месяца спустя была опубликована вся поэма целиком, без изъятий<sup>126</sup>. Однако битва — и между двумя культурными лагерями, и между двумя сторонами личности самого Хрущева — была далеко не закончена.

Одиночество Хрущева на вершине хорошо прослеживалось и в его отношениях с союзниками/противниками из стран соцлагеря. В октябре 1958-го, когда посол Югославии Мичунович, покидая страну, нанес прощальный визит в Пицунду, между СССР и Югославией разгорелась новая ссора. Тито отказался участвовать во встрече коммунистических лидеров в ноябре 1957-го, а в марте 1958-го Белград принял программу партии, где вернулся к своим «еретическим» принципам. Хрущев бойкотировал съезд компартии Югославии, на котором была принята новая программа, дал указание открыть против нее кампанию в советской прессе и в одностороннем порядке приостановил выдачу Югославии основных кредитов. А затем, сравнив предательство Белграда с «изменой» Имре Надя, с ноября 1956-го находившегося в заключении, приказал повесить последнего — что и было исполнено 17 июня 1958 года.

Однако последняя беседа Хрущева с югославским послом — на веранде, откуда открывался вид на море, — прошла вполне мирно. Приземистому советскому лидеру не сиделось на месте: он, по рассказу Мичуновича, «прыгал, словно пробка на воде». Вдали от Кремля, наедине со своим гостем (если не считать членов семьи) он выглядел куда сговорчивее и дружелюбнее: у посла сложилось впечатление, что по югославскому вопросу Хрущев систематически дезинформируют — как противники Тито, так и «безыдейные» подхалимы, говорящие только то, что хочет услышать босс. Три раза Хрущев рассказывал о дурном обращении югославских властей с советскими гражданами — и все три раза Мичунович показывал, что эти обвинения лишены оснований. Слегка смутившись, Хрущев проворчал, что эти случаи «сами по себе не так важны; важнее, что в советско-югославских отношениях появилась “нехорошая струя”». Мичунович продолжал опровергать и другие антиюгославские сообщения, появившиеся в советской печати. «Знаете, — вздохнул Хрущев, — вы думаете, что это все делается по моим указаниям, но я об этом ничего не знаю. Есть много такого, о чем я слышу только задним числом».

Ночь перед отлетом Мичунович провел на соседней даче (в прошлом — резиденции Берии). Там он обнаружил семерых или восьмерых высших советских чиновников, весь день ожидавших возможности встретиться с Хрущевым. Заговорить с Мичуновичем соизволил только один из них, секретарь ЦК Леонид Ильичев — и тот проворчал, что посол «загубил ему рабочий день». Трудно представить себе более яркий контраст между поведением Хрущева и его подчиненных! Очевидно, заключает Мичунович, бюрократия систематически поставляла Хрущеву ложную информацию. Особую опасность этой взрывчатой смеси добавляли подспудные сомнения Хрущева в правильности собственной проюгославской политики. Как он ни предавал анафеме сталинизм, сам так и не смог до конца избавиться от сталинских привычек<sup>127</sup>.

Советско-китайские отношения еще осенью 1957 года казались многообещающими: на ноябрьском Совещании коммунистических и рабочих партий в Москве Мао поддерживал лидерство СССР в восточном блоке; Хрущев в ответ согласился предоставить Пекину образец ядерного оружия и помочь китайцам в конструировании ракет<sup>128</sup>. Однако летом 1958 года положение изменилось<sup>129</sup>. К этому времени Мао прервал кампанию «Пусть расцветают сто цветов!» и объявил о начале «Большого скачка» — того самого, который несколько лет спустя привел к страшнейшему в китайской

истории голоду. А главное — Мао поставил под сомнение право СССР вести к коммунизму другие страны и народы.

Именно тогда, когда Мао стремился развивать «самодостаточность» Китая, Хрущев предложил ему новую форму военной зависимости. Советский ВМФ планировал разместить в Тихом океане несколько новых подводных лодок. Связь с ними с территории Советского Союза была очень дорога и ненадежна, поэтому Москва предложила построить на китайском побережье несколько радиостанций, работающих на длинных волнах, с перспективой создания в дальнейшем совместного советско-китайского подводного флота. «Мы полагали, что в строительстве радиостанции Китай заинтересован не меньше, чем мы... рассматривали это, как само собой разумеющееся дело», — вспоминал Хрущев<sup>130</sup>. Однако на встрече с советским послом Юдиным 22 июля 1958 года Мао не только ответил решительным отказом, но и произнес немало горьких слов по поводу советского шовинизма в целом и хрущевского в частности.

По-видимому, Мао заподозрил русских в намерении разместить в Китае свои военные базы и навязать совместный подводный флот, чтобы не позволить развивать свой собственный. Если Москва хочет «совместного владения и совместных действий», саркастически говорил он Юдину, почему бы тогда не владеть совместно «армией, флотом, военно-воздушными силами, промышленностью, сельским хозяйством, культурой, образованием?». Тогда в собственности СССР окажется «больше десяти тысяч километров китайского побережья», а у Пекина — «только народное ополчение». Советские предложения ясно показывают, что «некоторые русские смотрят на китайский народ свысока». Слишком долго между советской и китайской компартиями не было «братских отношений» — скорее, «отношения отца с сыном или, вернее сказать, кошки с мышью». Последние предложения Хрущева напомнили Мао «позицию Сталина». Хрущев «критикует Сталина, но сам проводит в жизнь ту же политику»<sup>131</sup>.

Переговоры Юдина с Мао длились два дня. В конце первого дня, 21 июля, Мао воскликнул: «Отправляйтесь домой! Вы ничего не способны толком объяснить! Убирайтесь и передайте Хрущеву, чтобы приехал сюда сам. Пусть сам объяснит мне, чего он от нас хочет»<sup>132</sup>. Юдин отправил шифровку в Москву. «Мы вдруг получили от Юдина тревожную телеграмму», — рассказывает Хрущев<sup>133</sup>. На следующий день, когда Юдин повторил китайскому руководителю свои доводы, Мао отрезал: «Вы так и не ответили на мой вопрос. Я спрашивал, чего именно вы хотите. Вы ничего не пони-

маете в своем деле. Пусть сюда приедет Хрущев. Передайте ему, я приглашаю его сюда, и немедленно. Мне нужно с ним поговорить»<sup>134</sup>.

Хрущев, бросив все, помчался в Пекин. Он решил, что китайцы неправильно поняли Юдина и для устранения конфликта достаточно будет, если он сам объяснит ситуацию<sup>135</sup>. Однако вместо этого обвинениям и унижениям подвергся он сам. Прием в пекинском аэропорту был холоден. Высшие фигуры в китайском правительстве (Лю Шаоци, Чжоу Эньлай, Дэн Сяопин и, наконец, сам Мао) присутствовали; однако, по рассказу очевидца с китайской стороны, не было «ни красной ковровой дорожки, ни почетного караула, ни объятий»<sup>136</sup>. Переговоры на вилле китайского руководства начались спокойно<sup>137</sup>. Мао заявил, что советско-китайское сотрудничество не прекратится еще десять тысяч лет. В таком случае, заметил Хрущев, «на девять тысяч девятьсот девяносто девятый год можно будет встретиться и заключить договор еще на десять тысяч лет». Оба руководителя признались, что из-за конфликта несколько ночей не могли заснуть. Хрущев пространно объяснил суть советского предложения, сделав особый упор на чистоте намерений Москвы. Все это время Мао курил, словно забыв о нелюбви Хрущева к сигаретному дыму, и время от времени прерывал гостя язвительными репликами. Выслушав все до конца, он небрежно махнул рукой и заявил: «Говорили вы долго, но до сути дела так и не дошли».

По рассказам очевидцев, изумленный и смущенный Хрущев пробормотал что-то вроде: «Да не беспокойтесь, я продолжу». Однако, когда он повторил, что для паритета с Седьмым флотом американских ВМС необходим «общий флот», Мао «хлопнул своими большими ладонями по дивану и сердито поднялся. Лицо его побагровело; тяжело дыша, он ткнул пальцем прямо в лицо Хрущеву: “Я спросил, что такое общий флот — и вы так и не ответили!”»

Хрущев сжал побелевшие губы; маленькие глазки его полыхали гневом. Тяжело сглотнув, он развел руками. «Не понимаю, зачем вы это делаете! — воскликнул он. — Мы ведь приехали сюда, чтобы вместе все обсудить». — «Что значит “все обсудить”?! — рявкнул в ответ Мао. — Что обсуждать?! Есть у нас независимость или нет?»<sup>138</sup>

Сделав героическое усилие, чтобы не взорваться, Хрущев пожал плечами и поинтересовался, не разрешит ли Китай советским субмаринам по крайней мере заправляться топливом в китайских портах? В обмен на это он пообещал Китаю доступ к Арктике. «Это нас не интересует», — отвечал Мао, глядя на Хрущева (по отзыву китайского очевидца),

«словно взрослый — на ребенка, который пытается его обмануть». Когда Хрущев побагровел от ярости, на лице Мао отразилось нескрываемое удовольствие. «Нам не нужен ваш Мурманск — и вы не лезьте в нашу страну». И, не удовлетворившись этим: «К нам уже лезли и англичане, и японцы, и многие другие иностранцы. И мы их всех отсюда выгнали, товарищ Хрущев. Если вы не поняли, повторю еще раз: мы больше не хотим, чтобы кто-то использовал нашу страну для достижения своих целей»<sup>139</sup>.

Следующий день прошел чуть легче. Мао объявил, что тучи рассеялись, однако продолжал нападать на гостя — только теперь более тонко. Явившись в резиденцию Мао, Хрущев обнаружил его в купальном халате и тапочках. Без предупреждения он пригласил Хрущева поплавать в бассейне. Поначалу Хрущев плескался на мелководье, затем, попросив у китайской прислуги спасательный круг, осмелился зайти поглубже. С усмешкой понаблюдав за его неуклюжим бултыханием, Мао нырнул с бортика и начал плавать взад-вперед различными стилями. Дальнейшая беседа лидеров происходила в воде, а переводчики бегали вдоль бортика, стараясь поспеть каждый за своим вождем<sup>140</sup>. По словам врача Мао доктора Ли, «председатель наслаждался ролью императора, а с Хрущевым вел себя, словно с варваром, привезшим дань. Таким способом, сказал мне сам Мао на обратном пути, он “загнал иглу ему в зад”»<sup>141</sup>.

В своих воспоминаниях Хрущев уверяет, что ничуть не огорчился: «Сразу же мы как пловцы “подняли руки” и сдались Мао, признали его первенство»<sup>142</sup>. Однако в 1962 году, в речи, обращенной к художникам и писателям, он приоткрыл свои истинные чувства: «Он-то призовой пловец, а я горняк, я же, между нами говоря, плаваю-то кое-как, я же бултыхаюсь, я же не умею. А он плывет, козыряет. И все время всякие материи излагает, политические вещи. Переводчик мне это на плаву переводит, а я и ответить как следует не могу. И он получается передо мной в преимущественном положении. Ну, надоело мне это, поплавал я, поплавал, думаю — да ну тебя к черту, вылез на бортик, сел на краешек, свесил ноги. И что же, теперь я наверху, а он внизу плавает... Он в это время говорит мне что-то про коммуны, про ихнии эти коммуны»<sup>143</sup>.

Вернувшись домой, советская делегация думала, что худшее позади. Однако 23 августа Мао, не предупредив Москву, подверг бомбардировке прибрежные острова Цзиньмэнь и Мацзу<sup>144</sup>. Бомбардировка вызвала международный кризис. Американцы выдвинули в Тайваньский залив мощные военные силы, в том числе более двухсот самолетов с ядерными

ракетами. Если бы разразилась война США с Китаем, очень возможно, что в нее оказался бы втянут и Советский Союз. У Москвы не было выбора: она объявила о решительной поддержке Пекина, что американцы восприняли как заявление, что Хрущев будет на стороне Мао, что бы тот ни сделал<sup>145</sup>.

4 сентября государственный секретарь США Даллес заявил, что для защиты островов Америка готова вступить в войну. На следующий день советский министр иностранных дел Громыко помчался в Пекин. По его словам, Мао поделился с ним своими военными планами: если американцы начнут атомную бомбардировку Китая, войска КНР отступят вглубь страны, увлекая за собой врага. А как только американцы зайдут достаточно далеко, продолжал Мао, русские «ударят по ним всем, что у вас есть». По словам Громыко, он был «ошеломлен» таким предложением и вежливо свернул беседу<sup>146</sup>.

Одной из причин, по которой Мао провоцировал кризис, было, несомненно, недовольство проводимой Хрущевым политикой разрядки. По словам доктора Ли, Мао хотел «показать и Хрущеву, и Эйзенхауэру, что им не удастся подчинить его своей воле и что мечты Хрущева о мире необоснованны». Или, как говорил он сам: «Острова — это дубинки, которыми я бью Хрущева и Эйзенхауэра и заставляю их прыгать туда-сюда. Правда, они здорово пляшут?»<sup>147</sup>

Тайваньский кризис затих, и отношения Москвы и Пекина на несколько месяцев стабилизировались. Однако летом 1959 года разразился новый, куда более серьезный кризис. Перед самым пленумом ЦК КПК в июле 1959 года, где руководители китайской компартии должны были утвердить программу «Большого скачка», Хрущев подверг новые китайские коммуны открытой критике. Вскоре Мао обвинил Пэн Дэхуая, имевшего прочные связи с Москвой, в предательстве и тайном сотрудничестве с Хрущевым. Когда между Китаем и Индией начались пограничные столкновения, Москва заняла нейтральную позицию. А 20 августа 1959 года СССР сообщил Пекину, что не намерен предоставлять ему образец атомной бомбы<sup>148</sup>.

В конце сентября, немедленно после возвращения из богатой впечатлениями двухнедельной поездки по США, Хрущев отправился в Пекин на празднование десятилетия китайской революции. По рассказу советского посла в Китае Степана Червоненко, входившего в состав делегации, Хрущев был настроен оптимистично. Однако прибыл он с опозданием — лишь на второй день, что едва ли способствовало налаживанию отношений; а прием был еще хуже, чем в 1958-м: ни почетного караула, ни речей с китайской сторо-

ны, а когда сам Хрущев все же настоял на произнесении речи, ему даже не предоставили микрофон<sup>149</sup>.

Далее последовали переговоры, по сравнению с которыми беседы двух руководителей в 1958-м следовало бы называть дружескими посиделками<sup>150</sup>. США являлись для Китая злейшим врагом. А Хрущев, по рассказу китайского переводчика Ли Юэжэня, описывал свою поездку в Америку «с горящими глазами и таким тоном, словно открыл новый континент: Я был в Америке, я все там видел своими глазами! Как они богаты — вы знаете, действительно богаты!». В заключение он попросил китайцев освободить пятерых американских летчиков, захваченных в плен во время корейской войны и томящихся в китайских тюрьмах. Едва сдерживая бешенство, Мао ответил отказом.

Хрущев упрекнул Мао за то, что тот «обидел» Неру («И ради чего? — добавил он. — Ведь этот спорный клочок земли — просто пустыня, там никто не живет!»), за то, что «упустили» далай-ламу<sup>151</sup>, за то, что вздумали бомбить острова, не посоветовавшись с Москвой («Мы у себя не знаем, что вам завтра в голову взбредет!»). Ответ маршала Чэнь И («Обвиняя нас, вы поддерживаете Чан Кайши и американских империалистов») поверг Хрущева в ярость. Побагровев, он начал орать на Чэня: «Конечно, вы маршал, а я — всего лишь генерал-лейтенант! Но я — первый секретарь ЦК КПСС, а вы меня оскорбляете!»

— Верно, вы генеральный секретарь, — отвечал Чэнь. — И когда вы правы, мы к вам прислушиваемся. Но когда вы ошибаетесь, мы не стесняемся вам возражать.

Далее Хрущев пожаловался, что китайцы численно превосходят его делегацию: «Нас здесь трое, а вас — девять человек, и все вы твердите одно и то же!»

Мао, по воспоминаниям переводчика, улыбнулся и заговорил негромко и спокойно: «Я вас долго слушал. Вы бросили нам много обвинений. Говорили, что мы... не должны были ссориться с Неру, не должны были бомбить Цзиньмэнь, что не следует нам проводить Большой скачок, не следует хвалиться своей верностью марксизму. Теперь позвольте и мне обвинить вас в ответ. Думаю, вы виновны в приспособленчестве и оппортунизме».

Поначалу Хрущев как будто не понял, о чем речь; затем, когда то же обвинение повторил Чэнь И, взорвался. «Если мы, по-вашему, приспособленцы, — воскликнул он, — то я вам теперь руки не подам!»

— Я не боюсь вашего гнева, — отвечал Чэнь И.

— И не старайтесь плюнуть нам в лицо — слюны не хватит! — рявкнул Хрущев.

По окончании переговоров (если к этой перепалке можно применить такое слово) дела пошли не лучше. На банкете в Большом народном дворце, в присутствии пяти тысяч гостей, Хрущев, стремясь восстановить дружескую атмосферу, завел очередную пространную речь, в которой посоветовал Китаю не испытывать «американских империалистов» на прочность. Ответную речь Мао произносить отказался, поручив это Чжоу Эньлаю<sup>152</sup>. Оставшись со своими коллегами наедине, Хрущев принялся высмеивать китайцев, рифмуя их имена с русскими нецензурными словами, а самого Мао называя «старой калошей» — хотя едва ли не понимал, что помещение прослушивается<sup>153</sup>.

Предполагалось, что визит продлится неделю. Однако уже через три дня русские улетели домой. Бывший работник ЦК Лев Делюсин вспоминает восклицание Хрущева: «Что случилось?! Вы спрашиваете, что случилось?! Да если бы я сам понимал!»<sup>154</sup> Его спутники, по словам Червоненко, тоже в основном хранили молчание, однако чувствовалось, что они во всем винят Хрущева. Впрочем, виноваты они были и сами — им следовало предупредить своего патрона о том, какие темы для Мао особенно чувствительны. Делюсин полагает, что разрыва можно было бы избежать, прояви Хрущев больше «терпения и понимания». В этом с ним (что неудивительно) согласны и помощники Мао. Как ни «умен и сообразителен» был Хрущев, замечает переводчик Ли Юэжэнь, однако «до Мао ему было далеко». «Мао видел себя тореадором, — добавлял Ян Минфу, — а Хрущева — быком»<sup>155</sup>.

Отправляясь домой один, оставив в Пекине почти всю советскую делегацию, — Хрущев выглядел «страшно угнетенным». Он не полетел прямо в Москву, а, чтобы развеяться и сгладить тяжелые впечатления, предпринял двухдневное путешествие по советскому Дальнему Востоку. Политрук корабля, на борт которого поднялся Хрущев во Владивостоке, был потрясен тем, что увидел: «Это был совсем не тот человек, которого мы привыкли видеть по телевизору — ни физически, ни душевно. Тот Хрущев, которого мы знали, был живым, энергичным, неутомимым, с неизменным чувством юмора. Но сейчас перед нами стоял другой человек — угрюмый, подавленный, ко всему безразличный». Даже охота на близлежащем острове (где ручные олени сами шли навстречу охотникам — только успевай перезаряжать ружье) не улучшила его настроения. «Это не охота, а убийство», — проворчал Хрущев. Большую часть времени на корабле он проводил у себя в кабине<sup>156</sup>.

Похоже, что абсолютная власть, к которой так рвался Хрущев, не принесла ему счастья.